
Ева Романова
Пока цветут яблони

Ева Романова

Пока цветут яблони

Серия «Young Adult. Молодежная российская романтическая проза»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74708326
Пока цветут яблони / Ева Романова: Эксмо; Москва; 2027
ISBN 978-5-04-256249-5

Аннотация

Ася и Глеб дружат с детства и с каждым годом становятся всё ближе. Вместе они встречают рассветы, мечтают о будущем и постепенно понимают: дружба превратилась в любовь. Им кажется, что впереди ещё целая вечность, чтобы всё успеть. Однако жизнь оставляет им гораздо меньше времени.

Теперь у Аси и Глеба есть всего несколько дней, чтобы успеть достичь одну последнюю цель: сложить тысячного журавлика. Того самого, которого когда-то оставили для самого счастливого дня.

Содержание

Пролог 7
Часть первая 12
Глава 1 13
Глава 2 24
Глава 3 33
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Ева Романова
Пока цветут яблони

Счастье не длится. Оно случается.
Бабушка Зоя



Серия «Young Adult. Молодежная российская романтическая проза»



© Ева Романова, 2027
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2027



Пролог

Сад зацвёл за одну ночь – как будто кто-то наверху больше не мог ждать.

Я нёс плед и термос и боялся одного: что она замёрзла. Земля ещё держала ночной холод, и трава по щиколотку была ледяной от росы, но небо на востоке уже выцветало – из чернильного в серое, из серого в то самое, которому я так и не подобрал названия за все наши рассветы. Она бы подобрала. Она всему умела давать имена.

Она, закутанная в отцовскую куртку, сидела на дощатой скамейке под самой старой яблоней, маленькая, как воробей в чужом оперении. На коленях у неё лежала шкатулка. Выцветшая, с потёртой крышкой, со снегирём, выжженным на боку неровной рукой деда. Я знал эту шкатулку столько же, сколько знал её саму. Иногда мне казалось – дольше.

– Ты должна была меня разбудить, – сказал я и сел рядом, накрывая пледом нас обоих.

– Ты так хорошо спал. – Она не повернула головы. – Я смотрела и думала: пусть ему приснится что-нибудь длинное. Что-нибудь на вырост.

Пальцы у неё были заняты. Белый квадратик бумаги поворачивался в них, складывался и оживал: крыло, второе крыло, острый клюв. Она делала это тысячу раз, и я тысячу раз не мог отвести глаз. В полутьме её руки казались отдельны-

ми от неё – двумя бледными птицами, которые учили летать третью.

Где-то за домами простучала первая электричка. Запахло сразу всем: росой, корой, дымом чьей-то ранней печки и яблоневым цветом – горьким, белым. Этот запах нельзя запомнить, сколько ни старайся. Его можно только узнать, когда он приходит снова.

Я отвинтил крышку термоса и налил ей чаю – сладкого до неприличия, как она любила. Она взяла кружку двумя руками и какое-то время просто грела о неё пальцы, глядя на восток.

– Какой это у нас рассвет? – спросила она. – Если с самого первого считать.

– Не знаю. Восьмисотый какой-нибудь.

– Восемьсот тридцать первый, – сказала она с упрёком. – Снегирь, ну как тебе не стыдно. Кто-то же должен в этой семье вести учёт.

«В этой семье». Она сказала это легко, как о погоде, между двумя глотками. А у меня внутри что-то сжалось и долго не отпускало, потому что я вдруг представил всё, что стояло за этими словами и чему уже не хватит никаких рассветов.

– Замёрзла?

– Нет. – Она помолчала. – Со мной сегодня всё правильно. Так бывает, оказывается: когда всё правильно. Запомни это утро, ладно? Не фотографируй. Просто запомни. Плёнка – для того, что забывается, а это пусть лежит в другом месте.

– Где?

– Где у тебя лежу я.

– Подержи. – Она протянула мне ручку, я снял колпачок – она уже берегла пальцы – и на внутренней стороне бумажного крыла, в самой его глубине, написала несколько слов. Быстро. Не давая мне заглянуть.

– Что там?

– Желание. – Она подула на чернила. – Нечестно подсматривать чужое желание, Снегирь. Даже тебе.

Птица сложилась до конца и встала на её ладони – белая, остроносая, с чуть кривым левым крылом. У неё все журавлики были с чуть кривым левым крылом. Я узнал бы её журавлика из тысячи.

Из тысячи.

Она открыла шкатулку. Там, внутри, было тесно от белого – крылья к крыльям, клювы к клювам. Она посадила последнего поверх остальных, осторожно, словно живого, и закрыла крышку. Щёлкнул замочек. Звук был крошечный, а у меня в груди отозвался так, словно где-то захлопнули огромную дверь.

– Всё, – сказала она.

– Что – всё?

– Я досчитала до тысячи.

Небо за её спиной стало розовым. Свет шёл сквозь цветущие ветки и собирался у неё в волосах, на ресницах, в уголках губ – она вся была подсвечена, как бывает подсвечен сад

в самое первое утро цветения, один раз в году. Она повернулась ко мне, и я увидел, что она улыбается, как люди, которые успели всё.

– Поцелуй меня, – попросила она. – Пока не взошло. Хочу, чтобы это было ещё сегодня.

Я поцеловал её. Губы у неё были тёплые и пахли яблоневым цветом – хотя, может быть, это пах весь мир. Я держал её лицо в ладонях и думал, что вот сейчас, сию секунду, у меня есть всё, что бывает у человека. Просто я ещё не знал, как называется то, что наступает после «всё».

Потом она положила голову мне на плечо и стала смотреть, как из-за крыш поднимается солнце.

– День засчитан, – прошептала она.

Лепесток оторвался от ветки, покружился и лёг на крышку шкатулки.

Если бы я умел тогда читать небо, как читала его она, я бы заметил, что сад в то утро цвёл слишком щедро. Так – из последних сил – цветут только те, кто прощается.

Но я не умел. Я просто сидел и был счастлив.

Это и было моё желание. Её я прочту позже.



Часть первая
Детство



Глава 1
Мальчик, который не верил в солнце

Ася

Мне было семь лет, и я твёрдо знала про мир три вещи: самые вкусные яблоки растут на нижних ветках, бабушку Зою нельзя обыграть в дурака, а солнце по утрам нужно караулить, иначе оно взойдёт без тебя – и день будет *засчитан* не полностью.

Про солнце мне рассказала бабушка. Она вообще рассказывала мне всё самое главное – между делом, через плечо, помешивая варенье или раскладывая на веранде карты. «Счастье, Аська, не длится, – говорила она. – Оно случается. Твоя забота – оказаться рядом, когда оно случится». Я понимала это по-своему: вставала затемно, вылезала в окно – через дверь было неинтересно – и шла в сад караулить.

Сад у нас был старый и ничейный, а потому общий, но я-то знала, что на самом деле он мой. Сорок яблонь, если считать сломанную, – а я её считала, потому что она, упрямая, лёжа почти на земле, по весне всё равно цвела. Между яблонями стояла трава по пояс, в траве жили кузнечики, ёжик Семён Семёнович и одна очень старая борона, лежавшая зу-

бьями вверх, – на неё было важно не наступить босиком.

В то утро – было самое начало июля, и яблоки только-только начинали тяжелеть – я сидела на своей ветке, болтала ногами и ждала солнца, когда в конце улицы зарычал грузовик.

К дому напротив – он год простоял пустой, с заколоченными окнами, и мы с Лизкой честно считали его слегка заколдованным – задом подъехала длинная машина с надписью «Грузоперевозки». Из кабины вылезли двое взрослых, а из легковушки следом – мальчишка.

Я сразу поняла, что он нездешний. Здешние мальчишки в июле бывают коричневые, как печёная картошка, а этот был белый – не больной белый, а какой-то снежный. Волосы у него были тёмно-рыжие, почти медные, и торчали, будто с ними всю дорогу ругался ветер. Он стоял посреди нашей улицы в куртке – в июле! – смотрел на сад, на дома, на небо, и лицо у него при этом было такое, словно ему всё здесь заранее не нравилось.

Я слезла с ветки. Вернее, я собиралась слезть с ветки как обычно красиво, но смотрела на новенького, а не на руки, поэтому свалилась как мешок с яблоками – с треском, охом и в крапиву.

– Ты чего там? – спросил мальчишка через забор. Голос у него был ровный и совершенно невпечатлённый.

– Караулю, – сказала я из крапивы, потому что врать было поздно, а плакать при незнакомых я не собиралась.

– Кого?

– Солнце.

Он помолчал. Подошёл ближе. Посмотрел на меня сквозь штакетник, как смотрят в зоопарке на что-то мелкое и непонятное, про что ещё не повесили табличку.

– Солнце, – повторил он. – Его-то зачем караулить? Оно что у вас, убегает?

– Оно не убегает. Оно приходит. – Я выбралась из крапивы вся в волдырях, но с достоинством. – Если встретить рассвет, день считается полностью. А если проспать, то день так, черновик.

– Кто сказал?

– Бабушка.

– Ерунда, – сказал он спокойно, как взрослый. – Солнце – это просто звезда. Класс жёлтых карликов. Оно никуда не приходит, это земля вертится. И ничего оно не считает.

Вот тут я обиделась по-настоящему. Не за себя – за бабушку и немножко за солнце, которое назвали карликом.

– Сам ты карлик, – сказала я. – Приехал в куртке, как этот… как пингвин, и рассуждает.

– Пингвины живут на юге, – сказал он. – На Южном полюсе. Я с севера. У нас, если хочешь знать, солнца зимой вообще нет. Совсем. Два месяца ночь – и ничего, живём както. Никто не караулит.

Я открыла рот и забыла его закрыть.

Я тогда не знала слова «полярная ночь». Я просто попы-

талась представить: вот ты просыпаешься – темно. Идёшь в школу – темно. Возвращаешься – темно. И завтра темно, и послезавтра, и через неделю, и нет никакого рассвета, сколько ни карауль, хоть всю жизнь просиди на ветке. У меня внутри стало холодно, как в погребе.

– Так не бывает, – сказала я наконец.

– Бывает. – Он пожал плечами, и я вдруг заметила, что плечи у него худые, а куртка большая, на вырост, и что он не задаётся, а просто говорит как есть. – Привыкаешь. Сначала противно, потом нормально.

– А как же… – Я поискала самое страшное, – как же утро?

– По будильнику, – сказал он. И, помолчав, добавил: – Зато когда пурга или мороз за сорок, у нас актировка. Сидишь дома, в школу не идёшь. У вас тут такого слова, небось, и нет.

Слова такого у нас не было. У нас и морозов таких не было.

И вот тогда я решила, что этого мальчика надо спасать.

Я не смогла бы объяснить, от чего. Не от темноты же – темнота осталась где-то там, на его севере, за тысячи километров. Наверное, от этого «нормально». Он говорил «нормально» так, как говорят те, кто давно перестал ждать чего-нибудь хорошего, – а я в семь лет уже точно знала, что так нельзя, что это самая опасная болезнь на свете, хуже ветрянки.

– Как тебя зовут? – спросила я.

– Глеб. – Он подумал и добавил: – Снегирёв.

– А я Ася. Антонова. Как сад.

– Какой сад?

– Этот. – Я показала подбородком на сорок моих яблонь. – Антоновка. Это сорт такой и город такой. И я такая. Нас тут много.

Он посмотрел на сад долго, внимательно, будто что-то прикидывал. Сад в утреннем свете стоял весь зелёный, в каплях, листья поворачивались и вспыхивали. Где-то в глубине свистнула иволга.

– Яблоки, наверное, кислые, – сказал он.

– Жутко кислые, – честно сказала я. – До оскомины. Хочешь?

И он первый раз посмотрел на меня по-человечески – не как на что-то мелкое и непонятное без таблички. У него оказались тёмные глаза, надо же. У рыжих почти всегда светлые, а у этого – тёмные, как кора после дождя.

– Давай, – сказал он.

Мы съели по яблоку, сидя на заборе, каждый со своей стороны, и морщились по очереди, и от кислятины было невозможно разговаривать, поэтому разговаривать стало легко. Я узнала, что его папа – инженер и что они приехали «на новый объект», что на севере у Глеба остался друг Димка и велосипед, который не влез в контейнер, и что больше всего на свете он, Глеб, ненавидит переезды, потому что это как игру сохранить не успел – всё сначала. А ещё я узнала, что всё, что не Север, у них зовётся одним словом – «материк».

Получалось, я всю жизнь прожила на материке и даже не догадывалась.

– А чего у вас там, на севере, есть такого, чего у нас нет? – спросила я.

Он подумал. Долго, всерьёз – я потом узнала, что он всё делает всерьёз, даже думает.

– Северное сияние, – сказал он. – Это когда всё небо… – Он пошевелил пальцами, подбирая слово, и не подобрал. – Ну, как будто кто-то свет включает и выключает. Зелёный. На всё небо. Из-за него даже темнота – ничего.

– Врёшь.

– Я никогда не вру, – сказал он так просто, что я сразу поверила. На всю жизнь вперёд, как потом выяснилось.

– Тогда завтра, – сказала я, – приходи караулить солнце. В полпятого. У нас сияния нет, но рассвет из сада – это, если хочешь знать, тоже ничего. Только не через дверь, а через окно вылезай, через дверь не считается.

– Почему не считается?

– Потому что через дверь ходят по делам. А мы пойдём не по делам, а по самому главному.

Он, конечно, сказал, что это ерунда и что он не придёт.

В полпятого утра он стоял под моим окном – в своей куртке на вырост, нахохленный, с взъерошенными медными волосами, и переминался с ноги на ногу в мокрой траве. Я как увидела его из окна, так и поняла, на кого он похож. У бабушки на шкатулке – на той самой, со шкафа, которую тро-

гать нельзя, – был выжжен снегирь: круглый, важный и сердитый. Зимняя птица, которая не улетает, когда все улетают.

– Снегирь, – сказала я вслух и засмеялась.

– Чего? – буркнул он снизу.

– Ничего. Лови.

Я бросила ему яблоко и вылезла в окно.

До рассвета оставалось двадцать минут, и мы успели как раз к началу. Мы сидели на нижней ветке самой старой яблони – я на своём месте, а он рядом, на месте, которое с того утра стало его местом на следующие десять лет, – и смотрели, как над крышами, над водонапорной башней, над всей нашей Антоновкой загорается край неба. Сначала серый, потом сиреневый, потом такой, какому я не знала названия.

Глеб молчал всю дорогу, и я уже решила, что зря его позвала, что сейчас он скажет своё «ерунда» или «класс жёлтых карликов» и всё испортит.

А он сказал:

– Нормально.

Но я уже знала, как переводится с северного его «нормально». И потом, я же видела его лицо. Он смотрел на солнце так, как будто два месяца просидел в темноте и наконец дождался. Как будто это лично для него сегодня включили свет.

– День засчитан, – сказала я.

– Чего?

– Так бабушка говорит. Если видел рассвет – день засчи-

тан. Полностью. Запоминай, Снегирь, тебе у нас жить.

– Не буду я ничего запоминать, – сказал он. – И никакой я не Снегирь.

– Будешь-будешь. А я тогда кто?

Он покосился на меня – я сидела вся в зелёных яблоках, которые напихала в подол, с листьями в волосах и, кажется, со вчерашней крапивной щекой.

– Яблонька, – сказал он. – Кислая.

И первый раз за два дня улыбнулся. Улыбка у него оказалась неожиданная – быстрая, светлая, совсем не идущая к нахохленным бровям, словно из-за тучи на секунду показалось солнце и тут же спряталось обратно.

Снизу, из утренней зелени, нас окликнули:

– Эй, караульщики! Слезайте, пока я оладьи не скормила Семёну Семёновичу!

Бабушка Зоя стояла на тропинке в своём синем халате с васильками, с подойником в руке, и смотрела на нас, задрав голову. Я знала: ругаться она не будет. Она никогда не ругалась за рассветы – только за враньё и за то, что хлеб выбрасывают.

За оладьями – мы ели их на веранде, прямо со сковородки, обжигаясь и дуя на пальцы, – бабушка устроила Глебу допрос. Делала она это так ловко, что он, кажется, и не заметил, что его допрашивают: где жили, кто папа, кто мама, болел ли коклюшем, любит ли с вареньем или со сметаной. Глеб отвечал коротко, по-северному, но честно. Со сметаной. Ко-

клюшем не болел. Жили за полярным кругом, посёлок при месторождении, я такого названия раньше не слышала.

– Два месяца без солнца, – сказала бабушка, не спрашивая, а проверяя, и поставила перед ним стакан молока. – И как же вы там?

– Привыкаешь, – сказал Глеб своё любимое слово.

Бабушка задержала на нём долгий взгляд. Так она смотрела на огород после града – прикидывая, что выживет.

– Привыкать, милый, надо к хорошему, – сказала она. – К плохому привыкать – это не привычка. Это сдача в плен. Ешь оладьи.

Глеб молчал до самого конца завтрака, и я уже испугалась, что он обиделся. А он вдруг сказал – не мне, бабушке:

– А можно я завтра тоже приду? Караулить.

– Нужно, – сказала бабушка, как припечатала. И, когда он ушёл – прямой и серьёзный, – добавила негромко, мне, но как будто и не мне: – Ну вот, Аська. Теперь у тебя есть свой снегирь. Зимняя птица, мороза не боится. Ты, главное, помни: снегиря нельзя в клетку. Он не для клетки птица – он для того, чтобы зимой было на что смотреть живое.

Я тогда ничего не поняла, конечно. Я только кивнула и стащила с тарелки последнюю оладью.

Остаток июля мы прожили так, как умеют жить только семилетние, у которых появился первый в жизни настоящий друг. Мы починили его велосипед – то есть чинил его мой папа в своей мастерской, молча и обстоятельно, а мы стояли

рядом и подавали ключи не того размера. Мы показали Глебу весь наш мир: речку с тарзанкой, водонапорную башню, с которой видно три деревни, дырку в заборе кинотеатра и ежиную тропу Семёна Семёновича. Лизка – маленькая, конопатая, с тугими косичками и голосом, который было слышно через три двора, – моя лучшая подружка с соседней улицы, неделю дулась и говорила «ну и дружи со своим пингвином», а потом Глеб молча отдал ей половину найденного у речки «куриного бога» – камешка с дыркой, – и Лизка сдалась, потому что против куриного бога не попрёшь.

Глеб учил нас своему. Показывал на небе ковш и говорил, что от него до Полярной звезды – пять раз отложить край. Объяснял, почему снег скрипит только в сильный мороз. И один раз, когда мы лежали в траве между яблонь и смотрели, как темнеет, он рассказал нам про северное сияние по-настоящему – не «свет включают и выключают», а как оно дышит, ходит складками, как занавеска на сквозняке, и какое всё маленькое под ним: дома маленькие, трубы маленькие, ты сам – с копейку.

– Страшно? – спросила Лизка.

– Нет, – сказал Глеб. – Наоборот. Когда оно горит, темнота – ничего. Терпимо.

Я запомнила. Я вообще, как выяснилось потом, запомнила из того лета каждую мелочь – словно кто-то внутри меня уже тогда знал, что это всё понадобится, и складывал про запас.

Я ещё не знала, что буду помнить его улыбку всю жизнь. Что через десять лет я нарисую её по памяти с закрытыми глазами. Что из-за неё я однажды совершу самую большую ошибку и самый правильный поступок – и это будет одно и то же.

Мне было семь лет. Солнце взошло. День был засчитан.

А на шкафу у бабушки, в комнате, где пахло вареньем и валерьянкой, стояла шкатулка со снегирём на боку, и в ней лежали девятьсот девяносто девять бумажных журавликов.

Но про них я расскажу дальше – потому что про них нельзя коротко.



Глава 2
Девятьсот девяносто девять

Глеб

Мне не исполнилось ещё восьми, когда я впервые увидел шкатулку, – а помню тот август лучше, чем вчерашний день. Память – она вредная: что хочет, то и держит, а тебя не спрашивает.

В августе зарядили дожди, и я заметил, что здешний дождь не такой, как наш, северный. Наш шёл ровно и серо, будто по расписанию. А этот налетал из-за сада, бил по крышам, по бочкам, по перевёрнутому тазу у крыльца – по каждому со своим стуком, – а потом вдруг уставал, и из-за туч на пять минут вылезало солнце, чтобы все успели удивиться. И опять сначала.

В такие дни мы сидели у бабушки Зои.

Дом у неё был такой, что я в первый раз постеснялся войти: мне показалось, что внутри всё звенит. Не в смысле богатства – в смысле стекла. Банки с вареньем на полках, банки с компотом под лавкой, гранёные стаканы в буфете, а в серванте сервиз, из которого никогда не пили, потому что «это на свадьбу Аськи». Пахло яблоками, воском и немно-

го лекарством – этот третий запах я тогда не умел узнавать. Научился позже.

Ася в этом доме была своя до последней банки. Я только тем дождливым августом разглядел её как следует: тонкая, лёгкая, косичка набок, серые – бабушкины – глаза, которые темнели, когда она говорила всерьёз; а пальцы у неё вечно были в чём-нибудь – то в краске, то в землянике, то в зелёнке от разбитых коленок. На запястье – красная нитка: бабушка повязала «от сглазу и чтоб помнила, чья она».

На шкафу, под самым потолком, стояла шкатулка.

Я заметил её в первый же дождь – я вообще всё замечаю, это у меня от отца: входишь в помещение – посчитай выходы. Шкатулка была деревянная, потемневшая, с медным замочком, и на боку у неё кто-то выжег птицу. Птица была толстая, нахохленная и сердитая.

– Это ты, – сказала Ася, проследив мой взгляд. – Один в один. Это снегирь, его дед выжег. Бабушка рассказывала: дед сначала хотел журавля, а получился снегирь. «Ну, значит, судьба», – сказал дед, – «пусть зимний сторожит».

– Что сторожит? – спросил я.

Ася понизила голос, хотя мы были одни: бабушка ушла к соседке за пектином для варенья и велела «не разнести дом».

– Не знаю. Её трогать нельзя. Вообще. Это единственное, что у бабушки нельзя, – у неё даже варенье можно, если ложкой и не из банки. А шкатулку нельзя.

Мне бы промолчать. Но внутри у меня уже зачесалось –

так всегда чесалось перед тем, как я придумаю что-нибудь, за что потом попадёт.

– Трогать нельзя, – согласился я. – А смотреть можно. Смотреть – это не трогать.

Придумал я так: табурет, на табурет – посылочный ящик, на ящик – три толстых тома Брэма про зверей. Полез сам: раз башня моя, мне и лезть, – у нас на Севере так заведено: кто придумал, тот и проверяет. Ася стояла внизу и держала табурет, и я спиной чувствовал, что она боится и ни за что не уйдёт.

Шкатулка оказалась тяжёлой и тёплой, как живая. Мы поставили её на стол, на клеёнку с подсолнухами, и я отщёлкнул медный крючок.

Не знаю, что я думал там увидеть. Деньги. Письма. Орден в коробочке, как у деда Димки.

Там были птицы.

Белые бумажные журавлики – слоями, рядами, плотно, как снег ложится к снегу. Верхние были белее, нижние – желтее, и от них поднимался запах старой бумаги, такой, как в библиотеке, только теплее. Их было столько, что в глазах рябило.

– Ничего себе, – сказала Ася шёпотом. – Это сколько же их тут…

– Сейчас посчитаем. – Я взял верхнего – осторожно, двумя пальцами, как берут жука. – Смотри, у него на крыле что-то написано. Внутри, в складке.

И тут хлопнула калитка.

Дальше всё было как в кино, только глупее: Ася дёрнулась, я дёрнулся, журавлик выпорхнул у меня из пальцев, спланировал, и я, спасая, поймал его в кулак. В кулак, понимаете. Когда я разжал пальцы, на ладони лежал комок со сломанным крылом.

Бабушка Зоя вошла, стряхивая с платка дождь, и увидела всё сразу: табурет, ящик, Брэма, шкатулку на клеёнке и нас двоих, причём я стоял с этим комком в протянутой руке, как стоят с пойманным воробьём, которого уже не спасти.

Я приготовился. У нас дома за такое полагался разбор: что нарушил, почему нарушил, что будешь делать. Я даже начал про себя составлять ответ по пунктам.

Бабушка сняла платок, повесила его на гвоздь, села к столу и сказала:

– Ну, раз достали – знакомьтесь.

И мы познакомились.

Их было девятьсот девяносто девять. Бабушка не считала при нас – она просто знала, как знают свой возраст. Каждого она складывала сама, вечером, перед сном, но не каждый вечер. «Только если день был счастливый, – сказала она. – А счастливый – это не когда всё хорошо. Это когда было что запомнить».

Внутри каждого крыла, в самой глубине складки, было написано почему. Она развернула нам три штуки – только три, «остальные не ваши». В одном стояло: «Матвей вернулся из

поля на два дня раньше. Ждала на станции под дождём, обещала себе не реветь, наревелась». В другом: «Аська сказала первое слово. Слово было „дай“. Вся в меня». В третьем, самом старом, жёлтом, почерк был не бабушкин – крупный, мужской, с нажимом: «Она прокараулила со мной солнце до пяти утра и не уснула. Женюсь».

– Это дед, – сказала Ася тихо.

– Это дед, – подтвердила бабушка. – Это вообще он начал. Я думала, он за мной будет ухаживать как все: кино, танцы. А он мне на третий день говорит: пойдём встречать рассвет, я тебе докажу, что самое интересное показывают бесплатно и без билета. И вот после того рассвета он сложил первого. Из обёртки от конфеты. У него руки были геологические, каждое крыло – как топором. Я потом всю жизнь нарочно левое крыло косила. Чтобы наши с ним птицы были одной породы.

Я взял с клеёнки помятого журавлика и расправил как мог. Левое крыло у него и правда было кривое – теперь уже дважды.

– А почему девятьсот девяносто девять? – спросил я. – Почему не круглое число?

Бабушка посмотрела в окно. Дождь как раз отошёл за реку, и в мокром саду стояло пятиминутное солнце.

– Потому что тысячного складывают в самый счастливый день, – сказала она. – Такой уговор был. Дойдём, мол, до тысячи и загадаем. Есть поверье такое, восточное: тысяча бу-

мажных журавлей исполняет желание. Матвей в него, конечно, не верил – он у меня был учёный человек: маршруты, образцы, порода. А складывал. Я его спросила как-то: «Матвей, ты же не веришь, зачем складываешь?» А он говорит: «Я, Зоя, не в журавлей верю. Я верю в учёт. Если человек тысячу раз заметил, что счастлив, – у него уже всё исполнилось, что ни загадай».

– А дальше? – спросила Ася, хотя по её лицу было видно: она знает, что дальше, она просто никогда не слышала этого вслух.

– А дальше он уехал в августе на Север, на полевой сезон, – сказала бабушка ровно. – За полярный круг. И не вернулся. Перевал, погода, конец сентября. Мне потом привезли его рюкзак, а в клапане – птица. Девятьсот девяносто девятая. Сложил вечером накануне. Я разворачивала крыло – руки тряслись, думала, там про меня что-нибудь последнее…

Она усмехнулась – не грустно, вот что меня поразило. Тепло.

– А там написано: «Видел северное сияние. Зелёное, на полнеба. Зоя бы дала ему имя».

В доме стало очень тихо. Слышно было, как с крыши в бочку падает оставшаяся от дождя вода – редко, по одной капле, как будто кто-то и там вёл счёт.

– Бабушка, – сказала Ася, – а тысячный? Ты же можешь сложить. У тебя же были счастливые дни – вон, про меня

целая птица есть…

– Были и есть, – согласилась бабушка. – Только мой самый счастливый уже случился, Аська. Давно. Я в нём, можно сказать, с тех пор и живу. А тысячного пусть складывает тот, у кого самый счастливый впереди.

Она посмотрела на Асю. Потом – я это запомнил точно, потому что у меня по спине пошёл холод, как от сквозняка, – на меня. Потом убрала журавликов на место, ровно, слой к слою, помятого – сверху.

– Пусть полежит с краю, – сказала она. – Счастье тоже бывает помятое. Может, такое – самое прочное.

Медный крючок щёлкнул под её пальцами – звук раздался тихий, но для меня он прозвучал неожиданно громко. Тогда я не знал, что этот короткий звук буду помнить всю жизнь.

Шкатулку я сам отнёс на шкаф. Брэма мы поставили на полку, ящик вынесли в сени, и бабушка налила нам чаю с тем самым вареньем, которое можно, если ложкой.

А ночью, дома, я сделал то, о чём не рассказывал потом никому десять лет.

Я вырвал из тетради по математике лист и сложил журавлика разлиновкой внутрь. Первого в жизни. Он вышел кособокий, горбатый, с разными крыльями – у деда Матвея, наверное, и то выходило лучше. Я долго сидел над ним с карандашом. У нас в семье не вели такого учёта. У нас считали другое: до отпуска, до конца контракта, до переезда. Если бы я спросил отца, какой у него был самый счастливый день, он

бы, наверное, ответил: «Не отвлекайся, делай уроки».

Потом я всё-таки написал внутри крыла, в самой глубине, где никто не найдёт:

«Сегодня мне рассказали про деда, который умер, а его птицы живут. Ася ревела, но по-тихому, я видел. Я не ревел. Кажется, я хочу здесь остаться навсегда».

Я спрятал его на дно ящика с инструментами, под напильники, куда не лазит даже мама.

Я тогда ещё не знал, что у бабушки Зои на всё был расчёт точнее моего инженерного. Что, показывая нам шкатулку, она не правила нарушала, а передавала дела – как сдают вахту. И когда через много лет я наконец понял, что лежало в той шкатулке на самом деле – не бумага, нет, – было уже и поздно, и в самый раз.

Там лежала инструкция, как жить.

Девятьсот девяносто девять раз проверенная.



Глава 3
Зимняя птица

Ася

Бабушка стала уставать в ноябре.

Сначала это было незаметно, ну, почти. Она всё так же ставила тесто и раскладывала пасьянс «Косынка» настоящими картами, презирая Лизкин «Тетрис», всё так же командовала на весь дом, где чья шапка. Только командовала теперь сидя. И на второй этаж за нитками посылала меня. И один раз, когда мы лепили пельмени, она вдруг остановилась посреди стола, с мукой на руках, и долго стояла, глядя в окно, где не было ничего, кроме серого снега.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.